

7 ЛУЧШИХ ЮМОРИСТИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ



АНТОН
ЧЕХОВ



АРКАДИЙ
АВЕРЧЕНКО

ВЛАС
ДОРОШЕВИЧ



АЛЕКСАНДАР
КУПРИН



САША
ЧЕРНЫЙ



О. ГЕНРИ



ДЖЕРОМ
К. ДЖЕРОМ



Аннотация

В книге представлено 7 лучших юмористических рассказов, вышедших из-под пера блестящих русских и зарубежных писателей, «королей смеха», творивших на рубеже XIX–XX вв.

Смех — это одно из наиболее ценных достояний человека, свидетельство его свободы и гарант хорошего настроения. Благодаря этой книге Вы узнаете, как и над чем смеялись в разных уголках земли более ста лет назад.

Тематика рассказов различна, однако их объединяет величайшее авторское умение подмечать веселое и комичное даже в самых скучно-серых бытовых вопросах, меткость характеристик и легкий слог.

7 лучших юмористических рассказов

Антон Чехов Лошадиная фамилия

У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная в спирту, но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние — жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька предлагали каждый свое средство. Между прочим, и приказчик Булдеева Иван Евсеич пришел к нему и посоветовал полечиться заговором.

— Тут, в нашем уезде, ваше превосходительство, — сказал он, — лет десять назад служил акцизный Яков Васильич. Заговаривал зубы — первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет — и как рукой! Сила ему такая дадена...

— Где же он теперь?

— А после того, как его из акцизных уволили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то и идут к нему, помогает... Тамошних, саратовских на дому у себя пользует, а ежели которые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше превосходительство, депешу, что так, мол, вот и так... у раба божьего Алексия зубы болят, прошу выпользовать. А деньги за лечение почтой пошлете.

— Ерунда! Шарлатанство!

— А вы попытайте, ваше превосходительство. До водки очень охотник, живет не с женой, а с немкой, ругатель, но, можно сказать, чудодейственный господин.

— Пошли, Алеша! — взмолилась генеральша. — Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и не веришь, но отчего не послать? Руки ведь не отвалятся от этого.

— Ну, ладно, — согласился Булдеев. — Тут не только что к акцизному, но и к черту депешу пошлешь... Ох! Мочи нет! Ну, где твой акцизный живет? Как к нему писать?

Генерал сел за стол и взял перо в руки.

— Его в Саратове каждая собака знает, — сказал приказчик. — Извольте писать, ваше превосходительство, в город Саратов, стало быть... Его благородию господину Якову Васильичу... Васильичу...

— Ну?

— Васильичу... Якову Васильичу... а по фамилии... А фамилию вот и забыл!.. Васильичу... Черт... Как же его фамилия? Давеча, как сюда шел, помнил... Позвольте-с...

Иван Евсеич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо.

— Ну что же? Скорей думай!

— Сейчас... Васильичу... Якову Васильичу... Забыл! Такая еще простая фамилия... словно как бы лошадиная... Кобылин? Нет, не Кобылин. Постойте... Жеребцов нешто? Нет, и не Жеребцов. Помню, фамилия лошадиная, а какая — из головы вышибло...

— Жеребятников?

— Никак нет. Постойте... Кобылицин... Кобылятников... Кобелев...

— Это уже собачья, а не лошадиная. Жеребчиков?

— Нет, и не Жеребчиков... Лошаднин... Лошаков... Жеребкин... Всё не то!

— Ну, так как же я буду ему писать? Ты подумай!

— Сейчас. Лошадкин... Кобылкин... Коренной...

— Коренников? — спросила генеральша.

— Никак нет. Пристяжкин... Нет, не то! Забыл!

— Так зачем же, черт тебя возьми, с советами лезешь, ежели забыл? — рассердился генерал. — Ступай отсюда вон!

Иван Евсеич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам.

— Ой, батюшки! — вопил он. — Ой, матушки! Ох, света белого не вижу!

Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного:

— Жеребчиков... Жеребковский... Жеребенко... Нет, не то! Лошаднинский... Лошадевич... Жеребкович... Кобылянский...

Немного погодя его позвали к господам.

— Вспомнил? — спросил генерал.

— Никак нет, ваше превосходительство.

— Может быть, Конявский? Лошадников? Нет?

И в доме, все наперерыв, стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей, вспомнили гриву, копыта, сбрую... В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию...

Приказчика то и дело требовали в дом.

— Табунов? — спрашивали у него. — Копытин? Жеребовский?

— Никак нет, — отвечал Иван Евсеич и, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух. — Коненко... Конченко... Жеребеев... Кобылеев...

— Папа! — кричали из детской. — Тройкин! Уздечкин!

Вздуродражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать пять рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию, и за Иваном Евсеичем стали ходить целыми толпами...

— Гнедов! — говорили ему. — Рысистый! Лошадицкий!

Но наступил вечер, а фамилия все еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы.

Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал... В третьем часу утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику.

— Не Меринов ли? — спросил он плачущим голосом.

— Нет, не Меринов, ваше превосходительство, — ответил Иван Евсеич и виновато вздохнул.

— Да, может быть, фамилия не лошадиная, а какая-нибудь другая!

— Истинно слово, ваше превосходительство, лошадиная... Это очень даже отлично помню.

— Экий ты какой, братец, беспамятный... Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился!

Утром генерал опять послал за доктором.

— Пускай рвет! — решил он. — Нет больше сил терпеть...

Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и получив, что следует, за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеича... Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб, и по выражению глаз, думы его были напряженны, мучительны...

— Буланов... Чересседельников... — бормотал он. — Засупонин... Лошадский...

— Иван Евсеич! — обратился к нему доктор. — Не могу ли я, голубчик, купить у вас четвертей пять овса? Мне продают наши мужички овес, да уж больно плохой...

Иван Евсеич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал к усадьбе с такой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака.

— Надумал, ваше превосходительство! — закричал он радостно, не своим голосом, влетая в кабинет к генералу. — Надумал, дай бог здоровья доктору! Овсов! Овсов фамилия акцизного! Овсов, ваше превосходительство! Посылайте депешу Овсову!

— На-кося! — сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. — Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии! На-кося!

Влас Дорошевич Женихи Одесская трагедия

Я шёл по опушке Хаджибейского парка. Как вдруг из куста вылетел молодой человек.

Я даже вздрогнул:

— Бешеный!

Без шляпы. Костюм в клочьях. Зрачки глаз расширены от ужаса. Мокрые волосы прилипли ко лбу.

И прямо мне в ноги:

— Ради Бога!.. За мной гонятся!.. Я кинусь в эти кусты, — не выдавайте меня!.. Они!!!

И молодой человек ринулся в кусты.

Что такое? Что случилось? Что человек наделал?

Убил кого-нибудь? Зарезал?

Может быть, просто украл, — нынче у молодых людей это в моде.

По парку шёл треск.

Вправо от меня слышался лёгкий треск, словно летела какая-нибудь легконогая серна.

Полевее слышался треск посolidнее, словно прыгала тигрица.

И, наконец, прямо кусты трещали так, словно валил медведь.

Треск слышался всё ближе и ближе. Послышалось тяжёлое, прерывистое дыхание, какое-то сопение...

Может быть, и на самом деле медведь?..

Я оглянулся на всякий случай, — близко ли дерево?

— У-лю-лю! — раздался отчаянный вопль; кусты раздвинулись, — и я остолбенел.

Из кустов показался Иван Иванович, милейший Иван Иванович, добрейший Иван Иванович, почтенный отец семейства, — но в каком виде!

Лицо налилось кровью, в глазах ярость, волосы дыбом, и прямо ко мне.

— Подлеца видел?

— Какого подлеца?

— Подлец тут пробежал. Не видал?

— Да почему же, Иван Иванович, отличить человека, подлец он или нет? Нынче это трудно...

— Не видал, значит? Ну, да всё равно. Он от меня не уйдёт, не уйдёт, негодяй!

Иван Иванович погрозил кулаком:

— Благословлю!.. Благословлю анафему!..

И он так кричал «благословлю», словно хотел оторвать голову:

— Благословлю!.. Не убежишь! Нет, ты только вообрази, какова шельма: из-под благословения вырвался... Ну, да, брат, ладно! От меня не уйдёшь! У меня это всё правильно устроено: облава! Я, брат, охотник. На медведей ходил! У меня сторожа подкуплены. Куда ни побеги, — на сторожа наткнёшься. Весь парк оцеплен. А по кустам жена и дети пущены. Сынишка Петька на велосипеде рыщет. Дочь бегаёт, жена. Как только увидят, сейчас на меня гнать начнут и «у-лю-лю!» кричать. Хорошо бы гончими его, ракалию, потравить. Ну, да за неимением гончих своим семейством обойдёмся. Жене прямо сказано: увидишь, мёртвой хваткой за шею бери и вали. А отбиваться начнёт, — за ноги кусай, чтоб бегать не мог. А я тем временем подойду и благословлю.

— Да что с тобой, Иван Иванович? От жары это у тебя, что ли? С чего это ты таким неподходящим делом вздумал заняться! Анафем благословлять?!

— А что ж с ними делать, как не благословлять? Благословлю, — и кончено. Нет, ты себе представить не можешь, до чего подлый нынче молодой человек пошёл! Ты ему всякое удовольствие, угощаешь, крошку для него делаешь, а он в благодарность хоть бы на твоей дочери женился. Хоть бы из вежливости! Крошку ест, и даже по две тарелки, а как до свадьбы дошло, — «не расположен», говорит. К одной крошке расположение и чувствует. Ты только представь себе. Приезжает на лиман молодой человек. Ну, я, естественно, сейчас через кухарку узнал. У меня ведь все чужие кухарки на жалованье. Как где показался молодой человек, сейчас обязана бежать и извещать. А уж я прихожу и знакомлюсь.

— Как, к незнакомому приходишь?

— А мне плевать, что он незнакомый. Познакомлюсь! Прихожу — вижу, молодой человек. «Ногой, — говорит, — страдаю». Мы в нём участие приняли, дочь даже за него замуж выдать хотели. А он, на-ко! Через перила!

— Как так? Через перила?!

— Очень просто. Сидим это мы перед обедом на террасе. Жена крошку приготовляет. Она какую-то особенную делает, горчицы в неё много кладёт, — словом, от этой крошки человек в некотором роде чувств лишается: сам не понимает, что говорит, что делает. Я поодаль сижу, чтоб молодым людям не мешать. А Олечка с ним, с анафемой, около перил об крошке говорит. «Вы, — спрашивает, — Семён Иванович, крошку любите?» — «Люблю, — говорит, — особенно с раковыми шейками! Раковые шейки — это восторг, что такое! Что может быть лучше шейки?» Кажется, объяснение прямое? Чего ж ещё ждать? Я к ним: «Я, говорю, вас, Семён Иванович, понял! Берите Олечку, целуйте её шейку, сколько вам угодно»... И только что хотел благословить, а он, подлец, ногу через перила — и в кусты. Мы и погнались!

В эту минуту где-то вдали послышался отчаянный вопль:

— Иван Иванович! Сюда! Держу!..

— Жена вцепилась!

И Иван Иванович шарахнулся в кусты.

— Держи!.. За ноги кусай!.. Я сейчас!.. За ноги... За ноги...

Голос Ивана Ивановича слышался всё ближе и ближе к тому месту, откуда раздавались вопли.

— Скорее! — вопил женский голос. — Рвётся!

— За ноги кусай, за ноги!.. Олечка, Петька! У-лю-лю! К матери на помощь! — раздавался голос Ивана Ивановича. Вот он, вот я!..

Но в эту минуту раздался страшный, отчаянный крик — и всё смолкло.

Я стоял ни жив ни мёртв. Что за драма разыгралась в чаще? Убили?

Снова затрещали кусты — и на дорогу вывалился Иван Иванович.

Именно, вывалился, а не вышел. Истомлённый, измученный:

— Вырвался!.. И ведь как, подлец, ухитрился. Жена ему в икры зубами вцепилась. Сын его два раза велосипедом переехал. Дочь за волосы держала. Думал: «благословлю». Нет! Увидал меня, анафема, словно калёным железом кто его прижёт. Ведь раздавленный, а как кинулся! У дочери в руках даже волос клок

остался. А всё Петька, каналья, виноват! Не умеет с женихами обращаться. Разве по жениху на велосипеде нужно ездить? Сел бы ему на голову, — и всё тут. Вот как с женихом нужно!

Иван Иванович присел на скамейку.

— Не поверишь, брат, как трудно нынче жениха отыскать!

— Да, может, насчёт женихов вы очень разборчивы?

— Мы?! Да нынче, брат, лакеев с большей разборчивостью берут, чем женихов. Это прежде было: чтоб жених не курил, в карты не играл. А нынче просто; одно от него, от идола, только и требуется: женись! И того не хочет!

— Что ж это они?

— А вот поди, спроси у них, у идолов. Вот какие они нынче молодые люди пошли! Никак не благословишь... Да я тебе вот что ещё скажу...

Но Ивану Ивановичу не удалось договорить.

К нам летела горничная:

— Барин! Барин! Домой скорее бегите! К вам кухарка с соседской дачи пришла!

Иван Иванович вскочил как встрёпанный.

— Прощай, брат, некогда... Новый появился... Благословлять побегу! Может быть, и удастся...

Мы встретились с Иваном Ивановичем недели через две на бульваре.

Он шёл, понутив голову, изнемогая от жары.

— Иван Иванович! Что это тебя в такую жару в город принесло?

— По делам был. В управе, потом в справочную контору...

— Ужели жениха чрез контору искал?

— Его самого. У меня, брат, хитрая механика теперь подстроена. С членом управы с одним познакомился. Обещался для меня в управе место столоначальника попридержать. Ты знаешь, это выгодно. Так вот по справочным конторам и хожу: нет ли какого-нибудь молодого человека без определённых занятий? Я ему место в управе, а он в благодарность чтобы на дочери женился. И ему хорошо, и мне выгодно: управский столоначальник — это, брат, по нынешним временам жених — слава Тебе, Господи! Конечно, это не скотобойщик, но всё-таки...

— Ну, и что ж?

— И на это не идут. Место, — говорит, — возьму с удовольствием, а к женитьбе расположенья не чувствую! По газетным объявлениям ходил. Какой-то молодой человек 100 рублей предлагает, чтоб место ему доставить. «Вот вам, говорю, и без ста рублей и жена и место. И сто целковых целы останутся и жену ещё получите!» Да он, дурак, оказывается, уж женат. Детей семеро. Конечно, жену можно бы и отравить, у меня порошок такой есть, а детей по приютам...

— Иван Иванович!!!

— Да что ты мне «Иван Иванович!» «Иван Иванович!» Я сорок пять лет Иван Иванович! Была бы у тебя дочь на возрасте, — посмотрел бы я, что бы ты запел.

Зашли тут же на бульваре позавтракать.

Иван Иванович рыбу съел, но над котлетой задумался.

— Ты что ж, Иван Иванович, не ешь?

— Постой, — мне в голову одна мысль пришла.

— Что ещё?

— А знаешь ли, мне этот лакедрон очень нравится!

— Кто такой?

— Лакей, что нам подаёт! Приличный такой, почтительный! В Одессе немного и молодых людей таких найдёшь. Очень-очень приличен!

— Иван Иванович, да неужели же ты...

— Что ж тут такого необыкновенного? Что лакей? Так что ж, небольшое приданое дам, — сами ресторан откроем, жена по кулинарной части, окрошку будет делать, я по винной кое-что смыслю. Право, сейчас ему предложение сделаю!

Но подошёл кто-то из знакомых, и Ивану Ивановичу помешали.

— В другой раз, — решил он, — а теперь к себе на лиман поеду. Да что ты к нам никогда не заедешь? Заехал бы, окрошки поел. Ты хоть и женатый человек, а всё-таки заезжай, поешь!

Я собрался к Ивану Ивановичу как-то на неделе.

Подъезжаю, — слышу вопли.

«Батюшки, думаю, должно быть, Иван Иванович кого-нибудь благословляет».

Хотел было повернуть назад, как вдруг с дачи вылетает в растерзанном виде жена Ивана Ивановича.

— Спасите! — кричит. — Изверг меня уродовать хочет!

— Как так уродовать?

— А вот спросите у него, он на даче с хирургическими инструментами возится.

Вхожу.

— Иван Иванович, что ты тут за зверства. делаешь?

— Никаких, — говорит, — зверств; просто хотел. жене на носу оспу привить.

— Это ещё зачем? У неё не привита разве?

— Привита, и даже два раза, — этой зимой ещё прививала. А я хотел на носу — для спокойствия.

— Иван Иванович, опомнись, выкупайся, воды выпей, что ли...

— Да что ты меня за сумасшедшего принимаешь, что ли? Я, брат, знаю, что делаю! Это я для женихов.

— Для каких женихов?

— Для Олечкиных. Отыщешь для Олечки жениха, а он за мамашей ухаживает. Ведь нынче молодёжь какая! А будет нос в оспе, — небось, не станет ухаживать. Вот я и хотел...

— Иван Иванович!

— Да что ты ко мне пристал: «Иван Иванович!» Ты вот меня поздравь лучше! Подлеца поймал.

— Какого подлеца?

— А вот, за которым тогда по парку гонялся. Не миновал моих рук. — Благословлю!

— Как же это тебе удалось?

— А очень просто. Объявил всем сторожам, будто он у меня пятьсот рублей украл, и сто рублей награды обещал тому, кто приведёт.

— Иван Иванович, да ведь это клевета!

— Уж это там что бы то ни было! А только поймали и привели.

— Да ведь за это под суд можно!

— Вот, вот! И он меня из погреба судом пугает.

— Как из погреба?

— В погреб я его посадил. Запер и ключ у себя держу. Кормлю селёдкой, а пить не даю. Пока идти под благословение не согласится.

— Да ведь это истязание!

— Я и сам знаю, что истязание! А он согласись жениться, — вот и истязание кончится. Надо же их, наконец, заставлять жениться.

— Ох, Иван Иванович, попадешь ты на каторгу!

— Не попаду, — согласится, Я на своём поставлю: благословлю. Долго не продержится. Он и теперь уж — в чём душа держится! Хочешь, пойдём, посмотрим!

Смотреть я не пошёл, но расчёты Ивана Ивановича сбылись.

Через два дня я получил приглашенный билет:

«Иван Иванович и Матрёна Карповна Фунтиковы имеют честь покорнейше просить вас пожаловать на благословение их дочери Ольги с коллежским регистратором Семёном Ивановичем Скриповым, имеющее быть в субботу, 20 июля, во дворе дачи Фунтиковых».

Я отправился.

Зрелище, которое мне представилось, было поистине изумительно.

Посреди двора два дворника держали за руки и за ноги распостёртого на земле «жениха», а Иван Иванович стоял над ним, плакал от умиления и говорил:

— Дети мои, благословляю вас, будьте счастливы!

В тот же вечер я встретил Ивана Ивановича в Гранд-Отеле.

Он был выпивши:

— Дочку замуж выдаю! Жениха нашёл!

И даже хвастает:

— А уж как её любит!!!

Александр Куприн Белая акация

Дорогой старый дружище Вася!

А я вас все ждал и ждал. А вы, оказывается, уехали из Одессы и не забежали даже проститься. Неужели вы испугались той потребительницы хлеба, которая, по моей оплошности, ворвалась диссонансом в наше милое трио (вы, Зиночка и я)?

Успокойтесь же. Это тип вам известный, по частям в разных местах хорошо вами описанный. Это — «Халдейская женщина», из семейства «собаковых», species — «халда vulgaris».

Удивляетесь ли вы тому, что спустя год после свадьбы я пишу таким тоном о своей собственной жене? Не удивляетесь ли еще больше тому, как это я, человек с большим житейским опытом, человек

проницательный и со вкусом, мог заключить такое чудовищное супружество? Ведь вы все хорошо заметили — не правда ли? И это нестерпимое жеманство, изображающее, по ее мнению, самый лучший светский тон, и показную слащавую интимность с мужем при посторонних, и ужасный одесский язык, и её картавое сюсюканье избалованного пятилетнего младенца, и нелепую сцену ревности, которую она закатила нашей бедной, кроткой, изящной Зиночке, и ее чудовищную авторитетность невежды во всех отраслях науки, искусства и жизни, и пронзительный голос, и это безбожное многословие, заткнувшее нам всем рты, наконец, эту трижды дурацкую ссору, где полезло наружу все грязное бельё нашей семейной жизни — одностороннюю ссору, потому что — вы помните? — кричала только она, а я молчал с видом христианского мученика, или, вернее, с видом побитой собачонки, давно привыкшей к жестокому и несправедливому обращению.

Но еще удивительнее причина, толкнувшая меня на этот злосчастный брак. Верите ли вы в колдовство? Ну, конечно, не верите. Так вот, в наши прозаические дни именно надо мной было совершено чудо, волшебство, очарование — называйте, как хотите. Я был отравлен, одурманен, превращен в слюнявого, восторженного и влюбленного идиота не чем иным, как этой проклятой, черт ее побери, белой акацией.

Вы помните, конечно, очаровательную весну у нас на севере, с ее тихими, томными, медленно гаснущими зорями, с несказанными ароматами трав и цветов, с соловьиными трелями, с отражениями звезд в спящей воде спокойной реки, между камышами... со всеми ее чудесами и поэзией? Здесь, на юге, нет совсем весны. Вчера еще деревья были бледно-серыми от покрывающих их почек, а ночью прошумел теплый, крупный дождь, и, глядишь, наутро все блестит и трепещет свежей зеленью, и сразу наступило южное лето, знойное, душное, назойливое, пыльное...

И цветы здесь ничем не пахнут, или, вернее, пахнут не тем, чем следует. В запахе сирени чувствуется примесь бензина и пыли, резеда отдает нюхательным табаком, левкой — капустой, жасмин — навозом.

Но белая акация — дело совсем другого рода. Однажды утром неопытный северянин идет по улице и вдруг останавливается, изумленный диковинным, незнакомым, никогда не слыханным ароматом. Какая-то щекочущая радость заключена в этом пряном благоухании, заставляющем раздуться ноздри и губы улыбаться. Так пахнет белая акация.

Однако на другой день совсем другое впечатление. Вы чувствуете, что весь город, благодаря какой-то моде, продушен теми сладкими, терпкими, крепкими, теперешними духами, от которых хочется чихать и от которых, в самом деле, чихают и вертят носом собаки. На следующий день пахнет уже не духами, а противными, дешевыми, пахучими конфетами, или тем ужасным душистым мылом, запах которого на руках не выветривается в течение суток. Еще через день вы начинаете злостно ненавидеть белую акацию. Ее белые, висячие гроздья повсюду: в садах, на улицах, в парках и в ресторанах на столиках, они вплетены в гривы извозчичьих лошадей, воткнуты в петлички мужчин и в волосы женщин, украшают вагоны трамваев и конок, привязаны к собачьим ошейникам.

Нет нигде спасения от этого одуряющего цветка, и весь город на несколько недель охвачен повальным безумием, одержим какой-то чудовищной эпидемией любовной горячки. Таково весеннее свойство этого дьявольского растения. Влюблены положительно все: люди, животные, деревья, травы и даже, кажется, неодушевленные предметы, влюблены старики, старухи и дети, гласные думы, хлебные маклеры, бурженники и лапетутники (две загадочные профессии, известные только Одессе), гимназисты приготовительного класса, телеграфные барышни, городовые, горничные, приказчики, биржевые зайцы, булочники, капитаны кораблей, рестораторы, газетчики и даже педагоги. Какая-то неисследованная зараза, какой-то таинственный микроб заключен в аромате белой акации.

На коренных обывателей эта болезнь действует сравнительно умеренно, — так же, как на природных жителей Кавказа слабо отражается болотная лихорадка, или на европейцах — корь. Но свежемому, приезжему человеку, на коренных обывателей эта болезнь действует сравнительно умеренно, — так же, как на природных жителей Кавказа слабо отражается болотная лихорадка, или на европейцах — корь. Но свежемому, приезжему человеку, особенно северянину, весенние цветы белой акации сулят преждевременную гибель.

Так случилось и со мной. Я нанял дачную комнатку на одном из бесчисленных одесских Фонтанов. У моих окон росла акация, ее ветви лезли в открытые окна, и ее белые цветы, похожие на белых мотыльков, сомкнувших поднятые крылья, сыпались ко мне на пол, на кровать и в чай. Когда я обосновался на даче, весенняя эпидемия была уже в полном разгаре. По вечерам на станцию трамвая выплывало все местное молодое население. Юноши и девицы ходили друг к другу навстречу целыми сплошными, тесными массами, подобно рыбе во время метания икры. И все смеялись, и ворковали, и грызли подсолнухи. Над вечерней толпой стоял оплошной треск семечек и любовный, бессмысленный говор, подобный болботанию тетеревов на токовище. И акация, акация, акация... Тут-то я и захватил мою болезнь, постигшую меня в самой тяжелой форме.

Она была дочерью той дамы, хозяйки столовой, где я питался скумбрией, баклажанами, помидорами и прованским маслом. Мать была толстая крикунья, с замасленной горой вместо груди, с красным лицом и

руками Она была дочерью той дамы, хозяйки столовой, где я питался скумбрией, баклажанами, помидорами и прованским маслом. Мать была толстая крикунья, с замасленной горой вместо груди, с красным лицом и руками прачки. Дочь присутствовала в столовой для украшения стола. У нее был свежий цвет лица, толстые губы, миндалевидные темные глаза и молодость. С матерью была она схожа так же, как два экземпляра одной и той же книги: экземпляр свежий и экземпляр подержанный. Но даже и это не остановило меня. Я уподобился летней мухе на липкой бумаге. Было и сладко и противно... и чувствовалось, что не улетишь.

О том, как я признался, как я делал предложение мамаше и как нас повенчали, — я ничего не помню. У меня был жар в 60 градусов, вздорный бред, хроническое слюнотечение и на лице идиотская улыбка.

Очнулся я только осенью, когда настали холода...

А теперь прошел год, и опять осень. Идет дождь, ветер дует в щели окон. Белая акация, — черт бы ее побрал! — облысевшая, растрепанная, грязная, как старая швабра, свешивает беспорядочно вниз свои черные длинные стручья, и качает головой, и плачет слезами обиженной ростовщицы... А я предаюсь грустным размышлениям.

Жена моя говорит: «тудую», «сюдою» и «кудою». Она говорит: «он умер на чахотку», «она выше от меня ростом», «с тебя люди смеются», «зачини фортку» (запри калитку), «я за тобой соскучилась».

Но ее уверенность во всех вещах мира необычайна, и она на мои поправки гордо отвечает, что одесский жаргон имеет такое же право на существование, как и русский.

Она знает все, решительно все на свете: литературу, музыку, светские обычаи, науку, и дрожит в ожидании очередного номера Пинкертон. Она считает признаком хорошего тона ходить каждый день на Николаевский бульвар или на Дерibasовскую и толкаться там бесцельно в человеческой тесноте и давке три или четыре часа подряд, щебеча и улыбаясь. Она любит яркие цвета в одеждах, шелк и кружева, но сама — неряха. Она хочет одеваться по моде, но так ее преувеличивает и подчеркивает, что мне стыдно с нею показаться на люди: мне все кажется, что ее принимают за кокотку. На улице она, как дома, ибо давно известно, что улица — родная стихия одессита.

Она скупа, жадна и обжора, она жестока и глупа, как гусеница, она терпеть не может детей и не уважает старости. Она ругается с женской прислугой, как извозчик, на их ужасном одесском жаргоне, и я вижу, что умственный уровень и такт моей жены и те же качества моей кухарки — одинаковы. Она наводняет мой дом своими бесчисленными родственниками с «Пересыпи» и «Молдаванки», и все они *одесситы*, и все они все знают и все умеют, и все они презирают меня, как верблюда, как вьючную клячу.

Она читает потихоньку мои письма и заметки и роется, как жандарм, в ящиках моего письменного стола. Она закатывает мне ежедневно истерику, симулирует обмороки, столбняки, летаргический сон и пугает самоубийством. Она посылает по почте грубые, ругательные анонимные письма как мне, так и моим добрым знакомым. Она сплетничает обо мне с прислугой и со всем городом. И она же уверяет меня, что я — чудовище, сожравшее ее невинность и погубившее ее молодость. Она еще не бьет меня, но кто знает, что будет впереди?

Милый мой! Была бы в моих руках огромная, неограниченная власть — власть, скажем, хоть полицейская, — я приказал бы вырубить за одну ночь всю белую акацию в городе, вывезти ее в степь и сжечь. Вырывают же ядовитые растения, убивают вредных насекомых, сжигают зачумленные дома, и никто не видит в этом ничего диковинного!

Прощайте же, дорогой мой. Завидую вашей холостой свободе, и да хранит вас аллах от чар белой акации. Обнимаю вас сердечно.

Ваш — прежде вольный казак, а теперь старый мул, слепая лошадь на молотильном приводе, дойная корова — NN.

Саша Черный **Колбасный оккультизм** **Рассказ делового человека**

Человек я не суеверный, некогда в эмигрантской жизни таким пустякам предаваться. И, по логике рассуждая, черному коту, либо проезжающему покойнику, либо католическому попу поперек прохожих передвигаться по Парижу приходится. Не на аэропланах же им перелетать.

Тем не менее, с некоторых пор русские объявления за салатом пробегая, стал я задумываться. Печатают же. Не зря Гутенберг свой наборный шрифт изобрел...

Предсказываю прошедшее, рассказываю настоящее, заглядываю в будущее. Брюнетам скидка. Имеющим свою квартиру — льготные условия платежа. С оккультным приветом, Веранда Брахманутра.

И личико изображено соответственное.

В скидке я (хотя и бывший брюнет) не нуждаюсь. Подножные франки, слава богу, не перевелись. Перфектум и презенс меня тоже не интересуют. И даром известно: несла наша курица в прошлом золотые